

Михаил Долбилов

(Университет штата Мэриленд, Колледж-Парк)

Толстовский земельный вопрос и крестьянская община

Предлагаемую в работе Э. Бояновской ревизию землевладельческого опыта Толстого отличает поистине толстовский дух несогласия и противоречия, претворенный здесь в критику самого исполина инакомыслия. Предстоящий на страницах статьи помещик, приобретатель и продавец земель, степной аграрий может сильно удивить того читателя его текстов, чья внимательность ограничена в своем применении глубоко усвоенным пиететом перед великим именем.

Концепции и методы *settler colonial studies* вкупе с замечательными архивными находками позволяют американской исследовательнице объяснить «неудобные» для биографов коллизии между горным и дольным в Толстом 1870—1880-х годов. Знатоки его интеллектуальной эволюции и духовных исканий рубежа тех десятилетий найдут в аргументации Бояновской полезный противовес соблазну отвернуться от вполне земной ипостаси графа Льва. Разве не в ту же пору он деловито присматривал кусище степной целины для выгодной покупки, сноровисто хлопотал о том, чтобы перебить конкурирующую заявку (поданную не каким-нибудь презренным стяжателем, а группой крестьян), азартно планировал заведение нового хозяйства и предвкушал получение с него весомой прибыли? Равным образом оказывается, что наидостовернейшие рассказы самого Толстого и современников о его приятельском общении с башкирами в Заволжье, уважении к башкирским обычаям, готовности чем-то помочь туземному населению не обеспечивают полного морального иммунитета: даже признанный русский гуманист, печальник о народной судьбе может быть найден исторически ответственным за колониальную эксплуатацию нерусских подданных империи.

Вывод о том, что, «хотя Толстой и не покупал эту землю непосредственно у башкир... лишь два посредника... отделяли его от имущественных претензий местных жителей, убежденных, что имперское правительство поступило с ними незаконно», — прозвучит для кого-то излишне категорично, но он бросает яркий свет на долго игнорировавшиеся антиномии толстовского мировоззрения. В самом деле, именно сегодня становится попросту неловко за проповедника пацифизма, когда читаешь пересказанную С.А. Толстой его бравурную похвалу тамбовским крестьянам-переселенцам, занявшим «брошенн[ые] китайцами-манджурами (*sic!* — *М.Д.*)» земельные угодья: «Хотя земля китайцев, но ее стали считать русской, и теперь она, несомненно, завоевана не войною, не кровопролитием, а этой русской земледельческой силой русского мужика. Манджуры на них иногда нападают, но русские сделали крепость и защищаются»⁵³.

53 Толстая С.А. Дневники / Ред. С.Л. Толстой. [Ч. 1]. 1860—1891. М.: М. и С. Сабашниковы, 1928. С. 38. Примечательно, что во втором издании дневников, вышедшем спустя полвека, этот фрагмент записи 1877 года об интересе писателя к крестьянским переселениям не воспроизведен (см.: Толстая С.А. Дневники / Сост., подгот. текста и коммент. Н.И. Азаровой и др.: В 2 т. Т. 1: 1862—1900. М.: Худ. лит., 1978. С. 502). Видимо, он был сочтен нежелательно актуальным в тогдашней обстановке

Как показывает Бояновская, отсутствие у Толстого должной рефлексии над своим вольным или невольным содействием русским переселенцам — силе, причинявшей ущерб полукочевой цивилизации башкир, — отозвалось в его творчестве, проявившись в стереотипных или этически сомнительных трактовках сюжетов, связанных с мотивами степи и кочевничества, особенно в знаменитой притче «Много ли человеку земли нужно». Вообще не просто новая интерпретация степного хозяйствования Толстого, но такая интерпретация, которая побуждает к переосмыслению целой темы империи в его творчестве, видится мне одной из главных удач статьи.

Хотя и интересными, но менее убедительными мне представляются те наблюдения и выводы Бояновской, которые, с одной стороны, покоятся на не пересматриваемых ею представлениях о Толстом как неизменном стороннике традиционной крестьянской общины, а с другой — обуславливаются стремлением автора изобразить владельца Ясной Поляны и 6500 десятин в степи более или менее сознательным участником большого колонизаторского проекта.

В вопросе об общине статья, как кажется, принимает за отправную точку достославную дневниковую запись 1865 года о праве собственности на землю. Согласно ей, «русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную» (XLVIII, 85). По мнению исследовательницы, тем самым Толстой «предсказывает, что отказ русского народа от частной земельной собственности в пользу общины станет вкладом России во всеобщий прогресс». Однако противопоставляются у Толстого не столько два различных вида землевладения, сколько сама формализация какого бы то ни было права на землю — полной свободе от такой процедуры. Более того, под «русским» отрицанием собственности подразумевается вовсе не тяга к общинной уравнительности и круговой поруке. Вчитаемся в содержащееся в той же записи пояснение насчет оптимальных для «русского народа» способов землепользования: «Эта истина не есть мечта — она факт — выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русской и мужик — к[отор]ый говорит: пусть запишут нас в казаки и земля будет вольная» (XLVIII, 85; выделено Л.Н. Толстым). Да не введет нас в заблуждение дважды употребленное в форме множественного числа слово «община»: из контекста ясно, что речь идет не о передельно-уравнительной великорусской общине, а о союзах, сообществах (по-английски эти два значения слова «община» передаются словами *commune* и *community*) казачьего типа, в которые могли объединяться переселенцы или беглые, то есть как раз те, кто стремился избавиться от любой — помещичьей ли, казенной или собственной деревенской — регламентации землепользования. (Потому-то собирательный мужик и просится в казаки...) Под таким углом зрения традиционная община, где вследствие фискального гнета происходили периодические перераспределения земли, сама выступает разновидностью права собственности на землю, препонной между земледельцем и землей.

Именно так и за десять лет до процитированной записи, и спустя десять лет после нее, в середине 1870-х годов, Толстой смотрел на общинное хозяйствование крестьян в Великороссии. Импонировали ему, и то лишь отчасти, крестьян-

советско-китайской конфронтации. Мог бы Толстой вообразить себе такое звучание своих слов?

ские патриархальные нравы, но — вопреки бытующему в толстоведении и воспринятому Бояновской клише — не внутренняя экономическая организация общины. В «Анне Карениной», к примеру, эта позиция прочитывается в живейшем интересе Константина Левина к хутору «мужика на половине дороги» (красноречиво само это определение), который является образцом семейного хозяйства, а количественно приближается к размеру «господского» землевладения, как и в попытках того же персонажа завлечь в паевое товарищество отнюдь не общинников-недоимщиков, а наиболее предприимчивых и зажиточных домохозяев. В одном из написанных еще в разгар работы над «Анной Карениной» набросков зачина романа «из народной жизни» (в статье Бояновской упоминается относящийся к тому же замыслу позднейший этюд) Толстой с явным сочувствием изображает пробу на прочность богатой крестьянской семьи, которая ради самостоятельного переселения на «татарские земли» откупается от не дающей на то разрешения мирской сходки солидной суммой (XVII, 267—269)⁵⁴. Эта община — совсем не та, где «земля... вольная». Известны и другие свидетельства о том, что в те самые годы, когда Толстой старался сам завести прибыльное хозяйство в своем степном имении, он восхищался именно оборотистыми и хваткими мужиками, выломившимся из-под власти нивелирующих общинных порядков.

Сказанное вовсе не отменяет справедливости указания Бояновской на то, что у Толстого не особо болела душа о множестве башкир, терявших пастбищные земли, которые фактически дарились лицам из дворянской или чиновничьей знати, а этими последними сдавались в аренду славянским (преимущественно русским, но также украинским) переселенцам. Однако за избирательностью толстовской эмпатии не стояло некоего романтического представления о нерасчленимой толще русского крестьянства, с чьими устремлениями могли бы почувствовать себя заодно и образованные, привилегированные соплеменники. Между тем именно такое представление фактически приписывается Толстому, когда раз за разом в статье акцентируется участие традиционной крестьянской общины в русской колонизации степи — как в исторической реальности, так и в писательском воображении.

По всей вероятности, в своем стремлении доказать тезис о русских переселенцах-простолюдинах как одновременно колонизаторах и колонизируемых автор склонна видеть в управляемой массе крестьян более естественного, чем индивидуальное фермерское хозяйство, союзника властей или крупных землевладельцев в деле экспроприации нерусского населения. Вот как в этой связи резюмируется в статье «степная» тематика «Анны Карениной»: «...роман возлагает надежды на якобы мирную аграрную империю под опекой поместной аристократии. Еще один отголосок самарских впечатлений в романе — Каренин, образ которого частично списан с Валуева, в бытность министром государственных имуществ возглавлявшего разграбление башкирских земель. Он представлен в романе в роли неудачливого управляющего как поселенческой колонизацией, так и этническими меньшинствами».

Хотя Бояновска обоснованно — через фигуру П.А. Валуева — связывает Каренина, бесплодно занятого изучением «положения инородцев», с названным правительственным ведомством, ее характеристика этого персонажа как устро-

54 О датировке этого наброска 1875 годом см.: [Сизова И.И.] Комментарии: Декабристы. Варианты первой главы // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Художественные произведения: В 14 т. Т. 9. М.: Наука, 2014. С. 666—668.

ителя, помимо того, еще и русской переселенческой колонизации — результат произвольной трактовки столько же сферы компетенции Каренина, прямо указанной или только подразумеваемой в романе, сколько и деятельности реального Министерства государственных имуществ 1870-х годов⁵⁵. В обоих случаях свидетельства об организации массовых переселений русских крестьян на степные окраины отсутствуют; до столыпинской реформы с ее большой программой поощрения оттока крестьян из Великороссии оставалось еще тридцать лет.

Главное же, в романе, на мой взгляд, не отыскивается не то что развернутых изображений, но даже зарисовок «поместной аристократии», инспирирующей, опекающей или направляющей процесс имперской аграрной экспансии. Спору нет, из уст Константина Левина читатель слышит высказывание об осознаваемом «русским народом» «призвани[и] заселить огромные, незанятые пространства на востоке». И хотя само определение «незанятые» выдает ту же безучастность — со стороны и героя, и его автора — к жизненным нуждам туземного населения, и Левин, и Толстой, как ясно из опыта обоих, имеют в виду «призвание» не всего крестьянства, а избранных сильных земледельцев, которым в их родных местах не дает развернуться даже не столько соседство дворян-землевладельцев, сколько круговая порука своей же, крестьянской, общины. Переселение «на восток» в толстовско-левинском мечтании сулит возможность трудиться на земле без принуждения к юридическому оформлению своего права на нее (что Левин пытается внушить пайщикам в своем собственном имении, где тоже имеется «степь» — давно не распаханная «дальние поля»). Иными словами, тут нет наметок некоего распределения функций между совместно вторгающимися в степь «аристократией» и крестьянской массой, а потому нет и самой идеи колонизаторской солидарности между представителями разных социальных классов внутри русской нации (насколько о таковой вообще можно говорить применительно к той эпохе).

Отсылку к будто бы центральной роли общины в русской колонизации степи, населенной кочевниками, Бояновска находит и в позднейшем трактате Толстого «Так что же нам делать?», где, в частности, раскрывается механизм отчуждения земледельца от земли посредством института собственности. Там, по мнению исследовательницы, представлены «гипотетические картины крестьянской общины, мирно обрабатывающей землю под лучами благосклонного солнца, не принося никому вреда». Едва ли это вполне так: в моделируемой Толстым ситуации действует не ассоциирующаяся с имперским государством уравнительная община, а «поселенцы», которые «сознательно признают землю общим достоянием и считают справедливым, чтобы каждый косил, пахал где хочет и сколько осилит», и которые, если хотят, могут сойтись «артелью» (XXV, 249—250), — прямой отзвук «общин казаков» на «вольной» земле из рассуждений 1865 года. Упрек Толстому в колониализме здесь бьет мимо цели: поставленная им перед собой аналитическая задача не требует специального рассмотрения *колониальной* эксплуатации землепользователя, будь то кочевник или хлебопашец.

В заключение замечу, что критическая установка на поиск амбивалентности, которую статья Бояновской образцово демонстрирует в отношении неприя-

55 Подробнее см. в моем исследовании: *Долбилов М.* Жизнь творимого романа: От авантекста к контексту «Анны Карениной». М.: Новое литературное обозрение, 2023. С. 320—337.

тия (последовательного лишь на первый взгляд) Толстым колониального господства, может быть реализована в анализе и других преломлений топосов власти, неравенства, несправедливости в его жизни и творчестве. «Бессознательная психология барина» — так определила Л.Я. Гинзбург черту, запечатлевшуюся в морализаторских выступлениях Толстого за то, чтобы имущие горожане совмещали умственный труд с необходимым для удовлетворения их насущных потребностей трудом физическим (живя в Москве, он подавал личный пример усердной возкой воды в бочке):

...это рассуждения человека, который обслуживает себя в пределах готового домашнего хозяйства, налаженного чужими руками. Он привез воду, но кто-то достал бочку для этой воды, кто-то кормил лошадь, на которой ее возят. <...> Если бы он знал, как трудно, когда нужно об этом думать, когда все, что служит тебе, служит только ценой твоих личных усилий. Гений, понимавший все, этого так и не понял⁵⁶.

Эту самую «разреженность» повседневной социальной коммуникации, которую гениальный творец делил с самыми заурядными членами привилегированных страт сословного общества, стоит брать в расчет, читая его творения. (Понятое в антропологическом ключе, марксистское клише «классовая ограниченность» обнаруживает хороший эвристический потенциал.) Как следствие, стереотипизация и редукция могли касаться и тех объектов в его литературном мимесисе, что стояли в его ценностной иерархии выше, чем кажущаяся экзотичность быта и культуры степных кочевников.

Юлия Красносельская

(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Покупка земли — способ обогащения или познания?

Нельзя не признать, что в статье Э. Бояновской описан недостаточно хорошо изученный сюжет. Обращаясь к истории покупки Львом Толстым земли в Самарской губернии, исследовательница рассматривает ее исходя из экономической и постколониальной перспективы и приходит к выводу, что этот проект был затеян для быстрого обогащения за счет вытеснения с самарских земель коренного башкирского населения. Признавая «моральную расплату» Толстого за увлечение «земельной лихорадкой», свидетельством чего является знаменитый рассказ «Много ли человеку земли нужно», Бояновская настаивает на том, что изменение взглядов писателя было вызвано озабоченностью по-

56 Гинзбург Л.Я. Проходящие характеры: Проза военных лет. Записки блокадного человека / Сост., подгот. текста, примеч. и ст. Э. Ван Баскирк, А. Зорина. М.: Новое издательство, 2011. С. 187.